

# Цель поэзии ПОЭЗИЯ...

*Известия - 1999 - июнь*  
Олегу Чухонцеву и Александру Кушнеру вручена  
премия имени А.С. Пушкина

Юлия КАНТОР (Санкт-Петербург),  
Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ (Москва)

Пушкинская премия, десять лет назад учрежденная гамбургским фондом немецкого предпринимателя Альфреда Тёпфера, ежегодно присуждается русскому писателю «гонорис кауза». В «пушкинский» год решено было вручить две премии по 40 000 DM, обе — поэтам, московскому и питерскому, и провести церемонии вручения в обеих столицах.

26 мая московская публика чествовала Олега Чухонцева. Поздравительные речи были разнообразны: поэтесса Олеся Николаева невольно стилизовала свой торжественный спич под пасхальное Слово св. Иоанна Златоуста; критик Игорь Шайтанов, напротив, вспомнил о жанре публичной лекции; Белла Ахмадулина читала пушкинские стихи... Все было и так хорошо, но ког-

да лауреат, скромно сидевший в уголке и поглядывавший на черный бюст Пушкина в глубине сцены, вышел к микрофону и прочел свою Пушкинскую речь, действие окончательно приобрело строй и ясность. Это объяснение в любви к русской поэзии много раз прерывалось аплодисментами.

«Наконец-то пушкинская премия вручается в столице русской по-

эзии, в городе Пушкина. Да простит нас Москва» — так представители Фонда Тёпфера предваряли питерскую церемонию, состоявшуюся 29 мая. Все проходило в камерной обстановке. Поздравления коллег (в том числе Людмилы Петрушевской) чередовались с музыкой. «Чистый поэтический тон, ведущий через Александра Пушкина к Анне Ахматовой до Иосифа Бродского» — так охарактеризовал Хельмут Тёпфер (сын учредителя премии) поэзию Александра Кушнера. Сам «виновник торжества» казался искренне смущенным; благодаря учредителей и коллег, он вдруг оборвал себя: «Все, не буду больше сочинять...» — и аплодисменты лауреату перекрыл мощный выкрик из зала: «Нет, нет, пожалуйста, сочиняйте!»



Белла Ахмадулина поздравляет Олега Чухонцева

## Речь Олега Чухонцева при вручении Пушкинской премии

Едва ли я подхожу для отведенной мне роли какого-то полужениха на смотрах. Чувствую нарастающий подколесинский ужас, и уже мерещится за спиной разгневанный экзекутор: покажите, покажите мне русского человека через двести лет! И слышится дружный смех настоящего юбиляра и его друга-малоросса, собственно, и учинившего эту дьявольскую шутку про Подколесина и русского человека через двести лет. И какая тут радость, скажите мне, — одно смятение и конфуз. Какие слова, когда только и остается руками развести: не ты первый, не ты последний...

Что говорить, мы живем в неуютном мире, в издерганные годы то ли кануна, то ли конца. «Смерть героя», «Смерть автора», «Смерть поэмы», «Смерть романа», разумеется, «Гибель культуры», как же без этого, — прозаики и философы, поэты и критики, пугая друг друга, как сговорившись, столько накликали на нашу голову катастроф и химер, что непонятно, как только мы, бедные, еще живы и вследствие какой патологии существует еще литера-

тура. Кажется, природа или Провидение устраняет искусство руками самого искусства. Но цивилизация сопротивляется, даже наступает: виртуальные технологии совершенствуют бомбометание, Интернет теснит книгоиздание. Боялись пришествия роботов, а на сцену выходит генный мутант, не помнящий родства. Все так. Но когда, выбравшись за город, я сижу вечером на ступенях дачной веранды и наблюдаю за небесным объектом, единственно безотказно освещающим мои запущенные шесть соток казенного сада, я каждый раз не могу поверить, что там, по Луне, ступала нога человека.

У меня дома хранилась щепотка лунной пыли из моря — то ли Благоденствия, то ли Изобилия (что-то жюль-верновское, одним словом, сплошные аллюзии, вот и ворчи после этого на постмодерн). И я несколько дней, как замороженный, всматривался в эту щепотку лунного грунта, да не щепоть, меньше: что-нибудь на кончике хирургического ножа. (Ее подарил мне мой друг-геофизик.) А однажды она ис-

чезла. Утром убрали квартиру, и пылесос вытянул, видимо, из неплотной закрытой коробочки ее содержимое. Я чуть с ума не сошел. Мистика какая-то. Или бес попутал: накануне выпил и показывал ее приятелю.

И вот — Ничего. Пустота. Но ведь в этой коробочке могла находиться частица любого грунта, с Марса ли, с Земли — чем наша планета в конце концов хуже, — и только в моем сознании она означала нечто большее. То ли материальную цитату из первой главы Книги Бытия или японской священной книги Кодзики, что-то дочеловеческое, то ли фрагмент безумной фантазии Циолковского, то ли осколок мировой лирики, образ, который сопровождает весь путь человека, ну, например, школьно-хрестоматийное: «Я ехал к вам: живые сны/ За мной вились толпой игривой./ И месяц с правой стороны/ Сопровождал мой бег ретивый...» Иными словами, единственно невыветриваемая реальность — это кладовая нашего сознания, и литература, поэзия — лишь ее часть. Может быть, и луч-

шая, но часть. Разумеется, то, что нас окружает, больше, грандиознее нас, но то, что внутри — теплее, сочнее и, хочется думать, именно там — тайная тайных Высшего замысла.

Именно по этой причине я всю жизнь хотел жить в тени, в своей нише, оставляя только тексты — я не люблю этого слова, ну, скажем так, сочиняя нечто, что будет жить само по себе, вне воли и имени автора. Это единственное, на что Господь нас сподобил. Все остальное — от лукавого. Создать это нечто, то есть новое, чтобы оно реально существовало (имея в виду весь корпус русской поэзии), невероятно трудно, почти невозможно, потому что писать стихи по-русски очень легко. И что греха таить, меня как страшил, так и страшит чистый лист бумаги, иногда и подолгу находит полное оцепенение. Как я завидую в эти минуты сторонникам «автоматического письма», о которых писал Барт в упоминаемой «Смерти автора», — «чтобы рука записывала как можно скорее то, чем даже не подозревает голова».

Но стоит хотя бы раз взглянуть на черновики Пушкина — и все дискуссии на эту тему кажутся очередной выпущенной парой в гудок.

Дело в том, что вся культура одновременна: и Овидий, и Державин, и Мандельштам — они существуют реально и рядом в том времени, которое времени не имеет, и эта их реальность смущает, сковывает пишущего, подавляет волю. Да и как писать, зная сотни шедевров: двухстопников и трехстопников и много акцентных, смешанных и свободных стихов? Как писать, когда устойчивые обороты и ходовые словечки сами лезут под руку, и надо иметь великое мужество, или большую одержимость, или полную слепоту и забывчивость, чтобы вышло что-нибудь путное — хотя бы случайно, а чем случайней, как помним, тем и верней? И эта случайность, непредумышленность — верный признак ее вечной новизны. «Как в изобретениях ты беден», — сетует опять же Пушкин, кажется, в «Послании к Горчакову».

Цель поэзии — поэзия, средства — те же, — сказано на все вре-

мена. И никакие ретрансляторы не заменят самого ее смысла, никакой масс-культ ей не страшен. Ну, в худшем случае она опять уйдет в подполье, в свой подвал, пристроится где-нибудь возле бойлерной, где никого, кроме гудящих конфорок и онтологической тишины, которая окружает и пестует каждое выплывшее слово.

Говорят, только великое остается. Пусть так. «...но я живу, и на земле мое/ кому-нибудь любезно бытие», — уже ответил на это современник Пушкина, заслоненный им для современников, мало понятый, но от того не менее значительный для потомков, носивший в себе не только усмирленную гордыню, но и великое смирение. Это нравственный урок каждому дерзнувшему взять перо.

А что до премии, которую я принимаю с глубокой благодарностью, скажу словами незабвенного Козьмы Пруткина: «Поощрение столь же необходимо гениальному писателю, сколь необходима канифоль смычку виртуоза». А негениальному, добавлю от себя, тем более.